

— Это так — кивал головой Литературовед и пышные волосы на его голове рассыпались во все стороны.

Генерал по-обыкновению молчал, он был как бы в стороне от всего этого и почему-то напоминал мне пристяжную лошадь. Коренником в этой удивительной паре была генеральша.

Мастер думал о своем, был стеснен, даже робок. Иногда мне удавалось перехватить его взгляд, полный тоски и, казалось, что он тяготился мнимой духовностью старухи, хотя и не подавал виду. Более того, даже сам иногда поддерживал эту пустопорожнюю болтовню просто, да се, а если же молчал, то на его губах всегда теплилась улыбка. Он умел улыбаться в определенных случаях так, чуть заметно, как бы для себя и очень-очень мудро.

— Какие у вас планы на сегодня? — спрашивала старушка, заглядывая в глаза сначала Мастеру, а потом другим собеседникам.

— Будем трудиться, — важно отвечал Литературовед. — Такая наша судьба.

Не знаю, насколько искренне говорил Литературовед. У меня не было уверенности, что он трудился в поиске лица, слишком свежим и румяным было оно, так и дышало бездеятельной добротой. Максимализм был не в его натуре.

— И вы тоже? — подступалась старуха к Мастеру, впиваясь в него колючками своих глаз. — Кстати, вам еще не удалось дочитать главу из моей первой работы?

— Не удалось, — мрачновато отвечал Мастер, озираясь, точно искал, куда бы можно спрятаться от назойливого взгляда. Она всучила ему на днях рукопись с просьбой сделать замечания, и теперь каждый день

спрашивала, читает ли он ее творение, наседала на него.

Мастер не мог отказать старому человеку, но его бросало в пот от этой графоманской рукописи, и он не знал, как ей сказать правду.

— Не торопите, — просил он с плохо скрытым раздражением.

— У меня ведь есть и другие дела.

— Все, все, все. Умолкаю, умолкаю, — тараторила старуха. И тут же спрашивала:

— А когда прочитаете? Может сегодня к вечеру?

— Может. Как пойдет дело.

— Но вам хоть чуть-чуть нравится?

Мастер кривил губы в улыбке. Ему, наверное, не-легко было сказать правду этой старой настырной женщине, которая, как я узнал, не без помощи Критика уже выпустила объемистый кирпич о рабочем классе с предисловием выдающегося писателя.

Благодарность за это она преподнесла Критику

бюст Петра Великого.

— Видно, интересная книга, если заслужила такое предисловие, — сказал я.

Мастер лукаво улыбнулся:

— Чем черт не шутит, когда Господь Бог спит.

Теперь она решила, что стала писательницей и накатала еще один производственный роман. Кстати, об этой книге тоже шла речь у меня на веранде в день нашего знакомства. Писатели слегка поиздевались над авторшей, а вернее над ее творением из железобетона. Какие-то с ногами забытые выражения из этой книги Критик читал по памяти и в этом ему мог бы позавидовать профессиональный актер.

— Зачем же ты взялся ее редактировать? — спросил я.

— Я это делаю в туалете, чтобы не пропадало время даром.

Непонятным было мне лицемерие такого способного литератора, создавшего несколько замечательных книг о выдающихся людях нашего Отечества. Ради чего он заискивал перед этой четой, даже где-то лебезил перед стариками. Только затем, чтобы сделать им приятное? Или он как-то зависел от этих людей? А может, он думал: другие пишут не лучше. А раз так, то почему бы ей и не опубликоваться. Одной посредственной книгой больше, одной меньше. А человек она была вроде бы неплохой. А муж ее, так и вовсе душка, к тому же заслуженный человек, генерал в отставке. Однако, и уйдя на пенсию, он не остался полководцем без войск, продолжал работать где-то в генеральном штабе и, кажется, что-то там сочинял по своему профилю. Как я понял из разговоров, писатели не раз бывали в гостях у этих людей в Москве и на даче. Их принимали там радушно. Насколько было искренним это радушие, они не могли знать. Возможно, оно было замешено на какой-то толике корысти. Ну да многие ли из нас способны на бескорыстные поступки. «Ты — мне, я — тебе» — стало присказкой.

Старики и в Доме творчества обхаживали известных литераторов, зазывали к себе в гости. И мои знакомые не однажды бывали там, играли в карты и потягивали коньячок.

Впрочем, мои предположения относительно неискренности старииков могли быть и не верными. Иногда я улавливал в отношениях старой женщины к писателям материнскую заботу. Другое дело, нуждались ли они в этой заботе.

— Старуха меня совсем изнасиловала, — сказал мне Мастер, когда мы, отделавшись от супругов,шли

домой. — А что я ей скажу? Ничего хорошего я сказать ей не могу. Суконный язык. Телячьи восторги по поводу и без повода. Все это уже было, было. А и обидеть человека не хочется — она ведь мне в матери годится, сражалась на фронте. Видел как ее скособочило, а она не сдается, бегает по утрам от инфаркта, купается в ледяной воде. И генерала за собой тащит в море. Жизнелюбы! Нам бы такими быть в старости.

Помолчав немного, докончил:

— Удивительно устроен человек. Чем старше, тем меньше думает о конце дней своих. Кто-то может и даст дуба, но только не я. Я буду жить вечно.

А подходя к дому, заговорил о горничной, которая в это время убирала его веранду, а рядом крутилась ее пацанка:

— Помочь бы ей надо с устройством ребенка в ясли.

— Критик же обещал.

— Обещал, — усмехнулся Мастер, — Мы мастера обещать.

Накануне Дня Победы, прогуливаясь по набережной, мы увидели на берегу, там, где в море впадает маленькая, заросшая травой речушка, Поэта и еще какого-то мужчину в тельняшке. Они стаскивали в груду обкатанные водой валуны и крупную гальку.

— Зачем это? — поинтересовался я.

— Здесь, в декабре сорок первого были похоронены десантники.

Сейчас воинам — участникам героического десанта, павшим за крымскую землю в годы Великой Отечественной войны, на набережной установлен гранитный мемориал. Мужественные суровые лица черноморцев

смотрят на вас сквозь годы, как бы говоря: земля, по которой вы ходите, полита нашей кровью. Не забывайте это. Уж кто-то, а Поэт не мог забыть. Сам участник эльтингенского десанта в 1943 году, он хотел, чтобы все здесь знали, где покоятся кости героев.

И вот зашла речь о том, как и где нам встретить День Победы, кого пригласить?

— Соберемся у меня, — сказал Критик. — В этот день могут показать интересные исторические кадры.

Надо сказать, Критик не привык себе в чем-либо отказывать, даже возил с собой портативный телевизор.

— Генерал с генеральшней тоже намерены прийти, — сообщил он. — Она грозилась испечь праздничный пирог.

— А еще кто будет? — спросил Мастер.

— Давайте решать.

Мне неведомо, какими соображениями руководствовались мои новые товарищи при отборе гостей, но в число их так или иначе попали люди сименами и положением: Писателя Эколога тоже пригласили. И его спутницу. Они обещали заглянуть попозже, так как в этот день по телевизору демонстрировался фильм о лесе и защитнику природы необходимо было его посмотреть.

— Пусть смотрит, — сказал Литературовед.

— Пусть, — согласился Критик.

А Мастер только усмехнулся, впрочем весьма ядовито.

Собрались в пять вечера. Четверо с нашего стола и генерал с генеральшней. Все принарядились по случаю такого торжества. Критик блестал улыбками, Литературовед был серьезен и походил на епископа. Старушка была единственной дамой в нашем обществе и мы

усердно помогали ей сервировать стол, раскупоривали бутылки, готовили салат из овощей, резали праздничный пирог с мясом и сладкий торт. И все болтали о разных пустяках.

У Критика было отменное настроение и он рассказывал всякие хохмы.

Он вообще был мастак поговорить, не держал слов за зубами, о чем, возможно, сожалел потом, но тут пока были все свои, и он выражался открытым текстом. Ему нравилось быть вольнодумцем в глазах окружающих, нравилось быть в центре внимания, фанфаронить. Ко всему прочему он обладал искусством пересмешничества, умел подстраиваться под чью-либо речь, копировать интонации, говорил теми же словами, которые были в ходу у того, кого он изображал. И тут же домысливал за них, да такое, что умереть можно было от смеха. Ерничая, он остроумно изображал в лицах тех корифеев литературы, которые больше пеклись о своем доходном месте, чем о качестве своих книг.

По случаю Дня Победы по телевизору выступал известный писатель со своими воспоминаниями о войне. Критик и его речь стал копировать, чуть картаив слова. Говорил о том, что «бвоходаря ему и его х-вра-бвости и была выих-р-ана эта вой-х-на».

Генерал с генеральшней снисходительно взирали на его выходки, наверное, уже привыкли к его лицедейству.

Мастер слушал, чуть прищурив глаза и усмехаясь уголками рта. Лицо его хоть и не было особенно подвижным, но зато обладало удивительным свойством. Оно становилось то лицом юноши или юноши, то лицом зрелого мужа, а то лицом старика. Все зависело от обстановки, в которую попадал Мастер, от окружающих его

людей, от предмета разговора. Такие люди, как он – вне возраста. Начать пиршество решили в этом же составе. Первый тост, как и полагается в застолье по такому случаю, произнес генерал: за великую победу над фашизмом, за память о павших в бою. Когда он говорил, а говорил он хорошо, проникновенно и вместе с тем сдержанно, все были углублены в себя, каждый вспоминал свое. Потом были другие тосты, а между ними шел разговор о писателях, верных военной теме и пишущих о войне, об армии. К их числу можно было отнести и генеральскую чету, и Критика, и меня. В связи с этим сидевший рядом со мной Литературовед предложил тост, в котором выразил удовлетворение, что их маленький коллектив пополнился новым членом. – Надеемся, – сказал он, – что наша дружба не умрет после того, как мы все разъедемся по домам. Я хоть и не очень верил в то, что так оно и будет, но мне все равно было приятно. Чуть захмелев, генеральша стала подступать к Мастеру с просьбой, чтобы он высказал свое суждение о ее новой книге, над которой она работала.

Может все-таки в другой раз, – растерянно улыбался Мастер. Ему не хотелось, наверное, высказывать старой женщине критические замечания в такой торжественный для всех день, тем более, что ему были известны боевые заслуги старой женщины. А говорить не-правду он не мог, несмотря на свою деликатность. – Отчего же. Тут пока, можно сказать, все свои и я нисколько не обижусь на вашу критику. Мне это пойдет на пользу. – Она оставалась верна самой себе – напористой, настырной. То, что она в этой обстановке скло-

няла Мастера на критический, а стало быть и малоприятный разговор, который не мог не испортить ему настроение, мне не нравилось. Да и всем остальным он вряд ли мог доставить удовольствие.

– Не стану отмечать положительные стороны, – начал он, неловко поднимаясь со стула. Какая-то напряженность была в его движениях, в улыбке, которую я бы мог назвать и трогательной, и беспомощной, и даже – виноватой, в чуть глуховатом, словно сдавленном голосе. И только слегка прищуренные глаза его выражали твердость. – Скажу, что мне не понравилось из того, что я успел просмотреть. Не знаю, кому сейчас интересно читать о том, с каким благоговением ждут собравшиеся членов президиума, как ликуют при виде их на сцене. И потом, это когда-то, кто-то где-то уже сказал. Вам надо бы приглушить восторженность.

– Но ведь так было, – возразила генеральша. Возможно. Но сегодняшний читатель смотрит глубже и многое не приемлет из того, что было. Парадность и показуха нас с вами уже не удовлетворяет. Вы меня понимаете?

– Да, да, понимаю.

– Выбрасывайте все, что может вызвать недоверие, я там на полях отметил, посмотрите сами.

При всей своей мягкости и покладистости в Мастере было что-то категоричное, и я не мог себе представить человека, под чье бы влияние он мог подпасть, чьей бы воле он мог подчиниться, когда речь шла о литературе.

– Вы в плену ложной патетики. Члены президиума не боги и незачем на них молиться, – продолжал Мастер. – Опыт прошлого каждое поколение переживает заново. Уберите дежурные ахи и охи. Уберите прямоли-

нейность, ортодоксальность. Пусть ваши герои будут просто людьми со всем тем, что им присуще. Пусть говорят, думают и чувствуют, как мы с вами, может не совсем последовательно, не совсем логично, ведь так оно часто и бывает в жизни. Не правда ли?

— Правда, правда, — поспешно соглашалась генеральша, впившись в Мастера своими пронзительно светлыми глазками.

Не знаю, насколько были искренними ее признания правоты Мастера. Я же полностью разделял его мнение и считал, что герои ее первой книги смахивали на роботов, изрекавших плакатные истины. Я не уловил у них собственного отношения к жизни и собственных мыслей, что свойственно каждой личности.

Мастер не поучал, не наставлял в том смысле, как это делают педагоги или воспитатели, потому что в литературе это бесполезно. Искусству писать не научишь. Талант можно направить, можно развить, но для этого нужно его иметь. У старухи, по-видимому, не было таланта. Способности, может, и были, а таланта нет. Она не чувствовала слова, как мы все не чувствуем, скажем, радиоволн или ультрафиолетовых лучей. Нечувствовала в той мере, в какой это нужно художнику. Она брала без разбору то, что оказывалось на ее строительной площадке.

Конечно, обо всем этом ей говорили, (может, в других выражениях) и она питала надежду, что благодаря своему знакомству с талантливыми писателями, которые всегда в чем-то нуждаются, что можно для них достать благодаря своему мужу (например, редкое лекарство для матери писателя), она доведет свой труд до печати. А для нее, видимо, это было самым главным. Как приятно потом поставить свою книжечку среди дру-

гих книг или подарить кому-то с собственным автографом. Она и в Коктебель прихватила свою продукцию. И преподнесла уже известному поэту, что готовился здесь к докладу о российской поэзии. Пусть знает!

— Не делите своих героев на белых и черных. Не командуйте своими героями, пусть они лучше вами командуют, не диктуйте им свою волю, не насилийте их, — говорил Мастер — Не обижайтесь, — сказал он ей.

— Что вы, что вы, я очень вам обязана, — отвечала она.

Стали подходить еще люди и скоро образовалась довольно разношерстная компания, а потому разговор за столом принял характер более общий.

Говорили главным образом о войне. Среди собравшихся здесь, более половины людей вынесли ее на своих плечах.

Поэт, бывший танкист с ожогами на лице (горел в танке), которые он скрывал бородой, читал стихи военных лет. Ему аплодировали.

Я ушел раньше, чтобы сварить кофе, которым мы (наша четверка) решили завершить праздник уже у меня в комнате или на веранде — без официальных тостов и экивоков.

Однако вот уже и вода забулькала в чайнике, а мои товарищи все не появлялись. Или дорогой их что-то задержало — это бывало не раз, знакомых здесь тьма, с одним поговоришь, с другим, а время идет. А может их затянули в другую компанию, что тоже не исключалось.

А на дворе уже было темным темно, редкие звезды проглядывали в просветах между облаками. Томительно благоухала сирень. Тихо. Только ежи шуршили в траве, искали, чем бы поживиться возле домиков. Их тут все подкармливали. Оставь вечером тарелку с едой —

утром будет пустая. А людей не боялись, даже не свертывались в клубок, если дотронешься, бегали по своим ежовым делам.

Первым заявиллся мой сосед:

— Кофе готово?

— Что так долго?

— Тебе не надо было уходить. Интересный разговор услышал бы. Спорили.

— О чём?

— Сейчас придут критики, расскажут. Это по их части.

И вот пришли Критик и Литературовед, возбужденные спором. Тут же было решено еще пропустить по рюмке.

Готовя немудреный закусон из свежих югурцов и сыра, я слушал, что говорили мои гости по поводу только что прошедшего спора в комнате Критика.

Разговор, оказывается, шел о творчестве одного из писателей-сибиряков. Кому-то он там не понравился, потому что писал не о том, чем сейчас живет страна, не о том и не так. Критик сказал, что каждый должен петь свою песню. И разгорелся спор.

Выпив, Критик снова стал ерничать, читал стихи голосом поэта-танкиста, налегая на «о» — тот поэт был с Волги. Стихи Критику не нравились, но там они хвалил, и я снова подумал, что заставляет его быть неискренним?

Потом мы пили кофе и пели старинные песни, какие пели наши родители по праздникам: «Хаз Булат молодой», «Шумел камыш», «Стенька Разин» и другие. У Мастера оказался хороший, хотя и не сильный голос.

Наша шумливая компания разошлась где-то во втором часу ночи.

А утром после завтрака Критик сказал, что неплохо бы принять по бокалу шампани:

— Очень хорошо снимает нагар со свечей.

И мы отправились в поселок за шампанским. Дорогой он рассказывал о своем прошлом, о том, как чуть было не связал свою жизнь с армией — учился в спецшколе и хотел стать офицером. И сейчас благоволит к армии, к военным.

— Армия приучает человека к дисциплине, без которой ничего не достигнешь, к систематическим занятиям спортом.

На этот раз он говорил искренне, и залогом тому могла служить написанная им книга о великом русском полководце, его постоянная игра в большой теннис, требующая больших физических усилий.

Однако, это не мешает твоим соznакоплениям, — сказал я ему.

— Ты имеешь в виду, — он хлопнул себя по животу, — это мышцы и я тебе докажу.

Когда мы собирались на веранде у Мастера. Критик встал между двух стульев, оперся руками о их спинки и поднял ноги с вытянутыми носочками вверх, замер в таком положении. Ничего не скажешь, брюшной пресс у него был развит хорошо.

В ответ на это я продемонстрировал свое умение убирать живот до такой степени, что можно было прощупать спереди позвоночник.

Мастер тоже не захотел оставаться в стороне, поднялся из-за стола, подошел к перилам веранды, оперся о них ладонями и, оттолкнувшись ногами от пола, сделал стойку на руках, а потом с кошачьей проворностью принял прежнее положение и снова сел за стол. Вот уж не думал, что Мастер находится в такой отличной

спортивной форме. И я мысленно сравнил его с кошкой, которая тихо и незаметно живет в доме, большую часть времени находится без движения, лежит, потягивается, а если надо, вдруг превращается в клубок мускулов и в одно мгновение запрыгивает на подоконник или на шкаф.

— Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, — сказал Литературовед, беря в руки стакан с шампанским.

И тут из кустов возник Поэт. Несмотря на жаркий день, он, как всегда, был в пиджаке из дерюшки кофейного цвета, с косынкой на шее и в берете. Я посмотрел на часы: у него началось время визитов. Он знал, где, когда, что и с кем случилось и кто, и что сказал по этому поводу и теперь спешил разнести свои вести по писательским кельям.

Поэт сообщил нам, что писатель-эколог нашел на Кара-Даге какой-то необычный камень-гибрид.

Поэту тоже налили шампанского.

— Местное? — спросил он и, подняв стакан с вином, стал изучать его на свет. Он был немного с чудинкой, носил на безымянном пальце массивный перстень с вправленной в него старинной монетой, покрытой вековой патиной. Он сказал мне, что этой монете около трех тысяч лет, назвал ее пантикопейской. Город Пантикопей (нынешний Керчь) был столицей Боспорского Царства.

Шампанское оказалось «местным», т.е. изготовлено в Новом Свете, а значит, самое лучшее. До революции это место принадлежало князю Голицыну, который, собственно, является «отцом» русского шампанского. Об этом нам сказал Поэт. Он писал монографию о крымских винах и знал в них толк.

— А вообще, — сказал он, — бросайте водку и переключайтесь на херес и мадеру. Они содержат в себе мало сахара и от них потом не болит голова.

Он стал просвещать нас, как изготавляются эти напитки и мы узнали кое-что из истории, биохимии и технологии вин типа хереса.

Родиной хереса является испанский город Херес-де-ла-Фронтара, в окрестностях которого произрастают лучшие сорта винограда. Отсюда херес отправлялся в другие страны, сначала в Америку, потом — в семнадцатом столетии в Англию. Там это вино стало самым популярным и постепенно вытеснило другие вина.

Поэт прочитал нам вдохновенные шекспировские строки из Генриха IV о хересе.

«Добрый херес производит двоякое действие: во-первых, он ударяет вам в голову и разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости, делает ум восприимчивым, живым, изобретательным, полным легких, пылких, игривых образов, которые передаются языку, от чего рождаются великолепные шутки. Второе действие великолепного хереса состоит в том, что он согревает кровь: ведь если она холодная и не-подвижная, то печень становится бледной, почти белой, что всегда служит признаком малодушия и трусости; но херес горячит кровь и гонит ее по всему телу. Она воспламеняет лицо, которое, как сигнальный огонь призывает к оружию все силы человека, этого крохотного королевства: и вот полчища жизненных сил и маленькие духи собираются вокруг своего предводителя — сердца, и оно, раззадорившись и гордясь такой свитой, отважится на любой подвиг, — и все это от хереса».

В нашей стране производство хереса было налажено в тридцатых годах. Характерной особенностью хе-

ресных дрожжей является способность к развитию хересной пленки на поверхности вина. При выдержке его под этой пленкой происходят важнейшие обменные реакции, в результате которых напиток приобретает свои свойства, которых так красноречиво рассказал Шекспир.

— А если обратиться к сухим винам? — спросил Литературовед, смакуя шампанское. На круглом лице его было разлито блаженство. Он был всем доволен, он был самим богом довольства.

— Пейте каберне, оно повышает аппетит и снимает радиацию.

С шампанским еще не было покончено, а Критик заспешил домой. Может это связывалось с тем, что у него предстояло свидание с некой особой, о чем он таинственно сообщил нам еще в столовой. Мы догадывались, кто была эта «особа».

Когда все разошлись по своим комнатам, Мастер сказал:

— Я знаю, чем все это кончится. — Надо было слышать, как он это сказал, сколько внутреннего беспокойства было в его голосе.

Теперь я встречался с Мастером каждодневно.

Он вставал поздно. Побегав по берегу и искупавшись, я возвращался к себе и видел зашторенные окна в его комнате. Я глядел на часы: если завтрак был уже в разгаре, то барабанил по стеклу его окна и уходил в столовую, а если времени было много, дожидался его.

— Ну -у, что? — этим вопросом он приветствовал меня по утрам.

— А ничего, — отвечал я и мы шли в столовую, обмениваясь по дороге редкими ничего не значащими словами о погоде, которая стала портиться, о море. Я заме-

чал: Мастера что-то тревожило, и эта тревога затаилась в его глазах. Но чаще он появлялся в столовой, когда я уже приступал к чаю. Был он молчалив и как бы недоволен собой и всеми. Сидел ссутулившись, морщил высокий лоб свой и щурился.

— Мне не нравилась его худоба, и я незаметно подставлял ему под нос тарелку с закуской (он мог ее и не заметить), наливал ему в стакан чай, хотя он сам никогда не просил об этом. Ел он вяло, немного, а случалось и вовсе не притрагивался к еде, и тогда мне приходилось его журить, как ребенка.

Из столовой мы выходили вместе. Иногда у партера нас поджидали генерал с генеральшей, иногда Критик и Литературовед. И тогда мы задерживались на несколько минут, чтобы обменяться мнениями по поводу той или иной статьи, которые появлялись в литературных еженедельниках или журналах. Больше говорили Критик или Литературовед, внимательно следившие за прессой, им активно поддакивала генеральша. А Мастер по обыкновению молчал.

После легкой словесной разминки все разбредались по своим кельям.

Как-то, спустя дня три или четыре после нашего сближения, когда я устроил ему утреннюю побудку, он крикнул из комнаты:

— Обожди немного! Я сел на перила его веранды. Было прекрасное золотисто-голубое утро и все дышало удивительной свежестью, благоухало. Вовсю цвела невеста. Обсыпанные белыми лепестками ветви этого кустарника спускались до самой земли, напоминая подвенечное платье невесты.

Он распахнул стеклянную дверь на веранду и стал натягивать брюки на свои узкие бедра. Был он заспанный, всклокоченный и недовольный.

— У тебя есть курево?

— Я же не курю. — Он махнул рукой:

— Придется идти в магазин. Может, вместе сходим?

— Пойдем. Но за курение до завтрака тебе полагается наряд вне очереди. Так было в армии в наше время.

Он что-то пробурчал в ответ, наскоро сполоснул лицо, поелозил, не глядя в зеркало, по скулам допотопной электрической трещалкой и мы отправились в магазин. На себя у него, видно, никогда не хватало времени.

Он шел молча, понурив голову, держал в руках несколько писем, которые собирался опустить по дороге в почтовый ящик.

— И кому ты все пишешь?

— Отвечаю читателям, знаете ли.

— На каждого?

— Стараюсь.

— Я злой бываю по утрам, — вдруг признался он. — Неразговорчивый.

— Валяй, злись, — усмехнулся я. — Классику это можно.

Легко ли мне было с ним? Нет, не легко. Но трудно, это еще не плохо. Бывает легко, но не интересно. А с ним я чувствовал, себя так, как будто читаешь интересную книгу и радуешься, что до конца ее еще далеко. И что удивительно: его печаль, скука, злость не распространялась на тебя, были его печалью, скукой и злостью.

Когда мы вышли с нашей территории на улицу, он вдруг спросил, как поживает та самая знакомая, от которой я узнал о том, что он будет в Коктебеле. Вспомнил, однако...

— Нормально поживает. У них вроде бы какие-то осложнения на работе?

— Не знаю, — соврал я, потому что она Христом Богом умоляла ничего не рассказывать ему о ее взаимоотношениях с некоторыми из членов редколлегии, которые хотели протащить на страницы журнала бездарных авторов.

— Хорошая она баба, — сказал он. — И литературу любит.

— И умеет вытащить на страницы интересного автора, — подхватил я. — Надеется, что ты тоже что-нибудь пришлешь.

— Давно обещал. Помолчав немного, сказал с легкой усмешкой:

— Знаешь, как началось наше знакомство?

— Откуда мне было знать.

— Она прочитала мои рассказы в толстом журнале, прониклась и... прислала в подарок шеститомник Бунина.

Не ведаю, чем я вызвал Мастера на откровенность, но мне она была приятна и я даже как-то вроде бы вырос в собственных глазах.

Сигареты мы купили возле автобусной станции, в овощной лавке. И еще прихватили несколько пучков свежей редиски — все-таки витамины.

Мастер достал из пачки всего несколько сигарет (не больше пятка) сунул их в нагрудный карман, а остальные вместе с пачкой бросил на стоявшую у магазина лавочку. Идя следом, я машинально поднял их.

— Брось! — крикнул он так, словно я взял в руки взрывчатку.

— Зачем же ты покупал?

— Хотелось курить.

— И опять захочется.

— Я же отвыкаю. Но если буду знать, что у тебя есть сигареты, приду просить. Брось!

«Как ребенок», снова подумал я, подошел к урне и сделал вид, что бросил пачку, а на самом деле засунул ее в рукав: зачем пропадать добру.

Сделав несколько глубоких затяжек, Мастер прокрутил лицом и сказал:

А вообще-то жить можно. Не так ли? На своей прежней работе, до того, как стать литератором, я и мечтать не мечтал о том, что сейчас имею. Могли я позволить себе распоряжаться временем по своему усмотрению. Захотел куда-то поехать, кати с Богом, живи, где хочешь и сколько хочешь.

— Было бы на что жить, — усмехнулся я.

— Конечно.

За завтраком я рассказал об эпизоде с сигаретами Критику и Литературоведу. Они понимающие заулыбались.

— Это он так отучает себя от курева, — объяснили они мне. — Каждое утро покупает «Золотой пляж» и выбрасывает, а потом стреляет весь день.

Иногда, проходя утром мимо столовой и не увидев в окно за нашим столом Критика и Литературоведа, мы направлялись с Мастером к дому, в котором они жили и, поднявшись на второй этаж, стучали к ним в двери.

— Дрыхнут, — с ноткой зависти в голосе говорил Мастер, когда они открывали нам.

Критик писал свой «семейный роман» и был всецело во власти своих героев, читал нам на память цепные куски, поражая меня способностью слово в слово запоминать написанное. Наверное, было выстрадано каждое слово и долго пригонялось одно к другому. Советовался с Мастером по поводу отдельных эпизодов.

Литературовед ничем особым похвастаться пока не мог, он привез с собой целую кипу чужих рукописей, на которые должен был написать рецензии для издательств, чем он и занимался, и хотел поскорее покончить с этим, чтобы после засесть за свое литературо-ведческое исследование.

Как-то заговорили о том, насколько правомерны в художественном произведении эротика и секс. Мастер был против постельных сцен в литературе.

— В авторской речи не должно быть недомолвок и иносказаний, — заметил он, — а называть вещи своими именами равносильно тому, как если бы мы сталиходить по улице голыми.

— А как же насчет той фразы, что однажды сказал тебе на встрече один из рабочих по поводу этого самого дела: «коно хоть и пустяк, а основное», — сказал Критик скорее для того, чтобы раззадорить Мастера.

— Зачем же обходить основное.

— А зачем писать о пустяках?

Они засмеялись.

— Что же касается обнаженности, то пусть она лучше проявляется в мыслях автора, — заметил Мастер.

Иногда мы отправлялись после завтрака за газетами в киоск, который находился на территории туристической базы. И вот однажды возле дома Волошина по-

встречались с Поэтом. Он был в своем неизменном берете, а темные очки сделали его похожим на частного детектива из приключенческого фильма – пародии.

Этого Поэта везде можно было увидеть: на набережной, в парке, кинозале, столовой. Столик, за которым он сидел, был возле прохода, и я подметил, что он каждый Божий день заказывал себе яйца. И как они ему только не надоели. Проходя мимо, взял и сказал ему об этом, на что он ответил:

– Ад ове – то есть, все из яйца, как говорили древние латиняне, – и этим озадачил меня. Ведь он кончил медицинский институт, работал врачом и, видимо, знал о яйцах то, чего не знали мы. Нам было известно, что он собирал в горах какие-то лечебные травы, сушил их, делал настойки и пил. Это поддерживало его силы, подорванные войной. Сейчас у Поэта в руках была целая охапка книг. Среди них оказалась и моя повесть о летчиках «Под крылом земля». Он взял их в библиотеке турбазы. Мастер просмотрел их том за томом и покачал головой:

– Даешь ты, однако.

Поэт смущенно заулыбался:

– Надо же знакомиться с продукцией тех, кто тут сейчас творит.

– А-а-а, – протянул Мастер и положил на ладонь увесистый «кирпич». На обложке его было написано неизвестное слово: «Ампелография».

Поэт повел своими острыми плечами, точно ему сделалось неудобно, и ничего не сказал. Мы пошли дальше.

– Мне бы за месяц не одолеть такую кипу книг, – сказал я.

Мастер смотрел на меня, как будто я был из другой

столицы – И не надо через свои мозги все пропускать. Читать надо медленно, тогда что-то останется в голове. И в сердце тоже. А чтобы осталось хорошее, надо читать хорошие книги.

– Газет в киоске не оказалось.

– Дожили. Даже выпуск современной пропаганды не могут наладить, – с горечью сказал Мастер. Он не мог жить без газет, всегда набрасывался на них с жадностью, точно надеялся найти там для себя что-то очень важное, то, что бывает нужно позарез.

– С бумагой, видно, плоховато, – заметил Литературовед. – Пишем много.

– Столько развелось графоманов. А читать нечего.

Потоптавшись немного у киосков с сувенирами,

Мастер вдруг как-то озорно посмотрел на нас: – Считается, что испанский херес превратил английских овец в британских львов. Так может, с хересом повезет?

– Согласен и на мадеру, – сказал Литературовед.

Об этих винах у нас уже дважды заходил разговор после того, как Поэт порекомендовал нам их, сказав, что они «полируют кровь».

– Как он о мадере-то сказал: дважды рожденная солнцем. Неплохо.

Это было связано с тем, что ее делают из винограда, который зреет на южных горячих склонах, а затем, в течение нескольких лет виноградный напиток прогревается на солнце в дубовых бочках.

Конечно, хотелось попробовать то или другое.

– Пошли, – сказал Критик.

И мы направились в конец набережной, где стояла забегаловка и в ней продавались вина и на вынос, и в разлив.

Ни хереса, ни мадеры в павильоне не оказалось. И это окончательно испортило настроение Мастеру.

Критик вдруг срочным порядком отбыл на несколько дней в Москву для улаживания каких-то своих дел с издательством. Не в пример Мастеру он был динамичен, обладал достаточной сноровкой и другими качествами, которые так нужны тем, кто не привык себе в чем-либо отказывать.

До аэродрома его провожал сам генерал.

Живший рядом с Критиком Литературовед стал реже наведываться к Мастеру. Может, засел за настоящее дело, а может, не хотелось одному тащиться по жаре в другой конец территории. Генерал с генеральшей тоже не приходили, они все-таки держались ближе к Критику и Литературоведу. Только Поэт был пунктуален: по нему можно было проверять часы.

Как-то разговорились с ним по поводу старинной монеты, что вправлена была в его перстень.

— Это что, талисман? — писатели народ суеверный.

— Это память о войне, — сказал Поэт, снимая с руки перстень и показывая его нам. — Я был в одном из самых дерзких десантов на «Огненную землю» под Керчью в сорок третьем. Попал туда зелененьkim, сразу после медицинского института. Сорок дней и сорок ночей стояли десантники насмерть. А потом прорвали окружение... Но это уже не по теме. Так как немцы бомбили нас беспрестанно, то мы поглубже зарывались в землю. И вот однажды, роя траншеи, чтобы «связать» землянки, где на-

ходились раненые с операционной, мы нашли в красно-буруй руде среди осколков глиняной посуды эту античную монету. Когда-то, тысячи лет тому назад на том месте стоял греческий город Нимфей. Вольный город: монету свою чеканил.

— А на обратной стороне что? — спросил Мастер.

— Виноградная кисть — эмблема города. А когда мы находились в окружении, у нас было всего два колодца с соленой водой, которую не хотела пить даже скотина. А мы пили.

— Ты хоть написал обо всем этом? — спросил Мастер.

— Об эльтингенском десанте? Написал. Конечно, поле моего зрения было часто ограничено операционной медсанбата. Кстати, про эту монету там тоже есть несколько строчек. — Поэт надел перстень на безымянный палец. — Память войны.

Когда он ушел, Мастер сказал:

— Хороший мужик. Когда он работает, одному Богу известно. Как-то прочитал мне стихи. Они начинались со слов: «В веселом городе южном, в его карусельном дыму, я так ощащаю ненужность. Ненужность свою никому». Это он о Ялте, где живет. Может поэтому так часто и бывает здесь.

В столовой, ожидая когда принесут еду, Мастер просматривал почту. Как-то среди писем оказалось письмо от матери. Он весь засветился изнутри. Он уже не раз заводил разговор о матери: как там она без него управляетя с домом, который он сравнительно недавно помог ей купить на берегу Азовского моря. Надо пособить ей. Цыплят не может купить...

— Что пишет матушка? — справился я.

— Как все матери, — ответил он и стал читать письмо вслух.

Судя по «слогу» письма, мать была не лишена умения найти для передачи своих мыслей нужные слова.

Среди прочего мать рассказывала в своем письме, как однажды ее посетили незнакомые люди — молодые муж и жена. Они сказали ей, что преклоняются перед талантом ее сына, очень сожалели, что не застали его дома и все расспрашивали о нем, что-то записывали в свои блокнотики. Мать напоила их чаем с вареньем и они уехали, так и не назвавшись и не оставив письма, только и сказали, что приедут когда-нибудь еще. И мать тоже ничего у них не спросила, постеснялась.

Я сказал ему, что это письмо похоже по стилю на письма из его повести.

— Значит ты их не придумывал?

— Да и не придумаешь так.

Вернулся Критик и вскоре снова уехал — она этот раз вместе с генералом и генеральшей — в Севастополь, чтобы встретиться с фронтовым другом генерала. Какая роль отводилась на этой встрече Критику, можно было только строить предположения. Мне было известно (из разговоров), что Критик бывает на даче у стариков и там его принимают с распростертыми объятиями. Старикам лестно, что они на короткой ноге с литературными метрессами.

В тот день, когда они уехали, Мастер, Литературовед и я снова решили прогуляться после завтрака по набережной, купить газеты, а заодно заглянуть и в дальний павильон, где иногда продавали мадеру. Этот Поэт нас

все-таки раззадорил своим рассказом о целебных и иных свойствах вин, и мы хотели проверить это.

Шли не спеша, наслаждаясь хорошей погодой, видами на горы и на море. На пляже было уже полно народа.

Перед ужином мы собрались у меня на веранде пропустить по стаканчику вина, собственно «пропустить по стаканчику» это громко сказано. Мастер почти не пил, сделает глоток и достаточно, потом сидит и вяло жует что-нибудь. Мы с Литературоведом налили себе немного побольше.

Когда сели за стол, на веранде появилась та самая горничная. На этот раз она была без девочки, чистенькая и надущенная.

— Все пьете? — вместо приветствия сказала она, как говорят, друг другу хорошие приятели.

— Беседуем, — виновато ответил добропорядочный Литературовед, и прутяное кресло под ним жалобно заскрипело. Он был тактичным человеком, даже в мужской компании не позволял вольностей в разговорах женщинам, считал их слабым полом и относился к ним в соответствии со своими представлениями. И вдруг такое услышать от молоденькой женщины, почти девочки.

— Вижу как беседуете, — ухмыльнулась горничная. Мы попытались продолжить прерванный ею разговор, давая понять девушке, что наше хорошее отношение к ней еще не дает ей право на фамильярность.

Она послушала внимного, оперевшись плечом о косяк двери, потом уверенно поставила свою сумку возле стола и ушла в комнату.

«Убираться будет», — решил я. Она уже несколько дней не убирала комнаты в нашем коттедже.

Однако, через несколько мгновений горничная вернулась со стулом, поставила его к столу и села с нами, всем своим видом говоря: «наливайте и мне».

А вот этого-то я и не собирался делать. Один раз угостили и будет. Надо и честь знать, на работе все-таки, милочка, находишься. Да и не товарищи мы тебе, в конце концов.

Разговор окончательно расстроился и мы примолкли. Дураку было понятно, что мы не жаждали ее общества. Но она не уходила. И это меня разозлило, хотя я и не подал виду. Я просто решил проявить твердость, хотя, может, это тоже нельзя было назвать тактичным с моей стороны.

– На сегодня достаточно, – сказал я. – А то и в самом деле кто-нибудь подумает, что мы пьяницы, – и я унес недопитую бутылку с веранды, провожаемый изумленным и беспомощным взглядом Мастера. Никогда мне не забыть этого взгляда, которым он смотрел иногда на других. И не понять, что он думал в это время. Я посмотрел на Литературоведа, пытаясь в его лице увидеть то, что не мог определить по лицу Мастера. Оно было официально-сдержаным, непроницаемым.

Горничная пыталась о чем-то говорить, но мы не поддержали ее разговора, и она примолкла. Все озиралась по сторонам, словно искала кого-то. Потом поднялась и ушла.

Мы переглянулись.

– Н-да-а, – обронил Литературовед и покачал головой. Какое-то время мы молчали. Мастер мял в руках конфетную обертку и ни на кого не смотрел. Кажется, ему было жалко горничную. Он болел душой за ее беду. Его молчание было для меня немым укором. Я поймал себя на мысли, что она вовсе и не к нам пришла, и не

мы ей были нужны. Она надеялась увидеть Критика. Поэтому-то и принарядилась, навела марафет.

Мне тоже вдруг сделалось жалко ее.

А Критика я не осуждал. Многие ли из мужчин могут сказать самому себе, что они никогда не думали о запретном плоде и многие ли не искали его, если представлялась возможность. Да и женщины, видимо, не лишины греховных мыслей и действий, когда есть полная гарантия, что их тайна останется за семью печатями.

А Литературовед сказал, обращаясь к Мастеру:

– Вот ситуация, достойная новеллы, если, конечно, за перо возьмется настоящий писатель. В самом деле: показать отношения всех друг к другу, мысли, чувства. Возьмись, а? Ты это сможешь. У тебя получится.

Мастер не ответил. О чем он думал, я не знал. А сам я думал в это время о Литературоведе, о его отношении к жизни, о его солидности и респектабельности. Но я не относил его к людям пунктуальным и требовательным к себе. Такие обычно себя жалеют и не переломятся, в работе не надорвутся. Но и разгильдяйства не позволяют себе, Словом держат золотую середину и сходят за премудрых. Наверное, он хороший семьянин, думал я, гребет не от себя, заботится о своем гнездышке, о жене, о детях. Жену он, конечно, любит и, может, немного побаивается, не идет на осложнения. Вообще такие люди не любят осложнений, ни на работе, ни дома. Но на поводу у других не идут и за честь мундира постоять могут.

Бывали дни, когда Мастер не мог долго сидеть и стучать на машинке, вдруг вскакивал и убегал куда-то, возможно за газетами и письмами.

Друзьям его не стоило больших усилий оторвать его от работы, склонить на безделицу, праздный разговор или гульбу. Понуждаемый к ничегонеделанию, он чаще молчал, слушал, что говорили другие.

Иногда мне удавалось поймать его взгляд, полный тоски. И с друзьями он мог пребывать в одиночестве. В эти минуты он казался мне ничем не защищенным.

Бывал он рассеян и забывчив. Как-то оставил в магазине ключи от своей комнаты и забыл где (думал, что потерял), и не мог попасть к себе, а то вдруг обнаружил, что исчезли деньги, сокрушился, а они оказались у него под подушкой.

Но бывало и так, что он становился душой компании и полностью растворялся в разговорах, и в эти минуты психологически, внутренне он был близок к собеседникам.

А то вдруг начинал дурачиться и тогда только смотри и слушай: откуда бралось столько оптимизма и юмора! И не всегда можно было понять: серьезно он говорит или морочит вам голову.

Было приятно смотреть, как он радовался жизни, естественно и искренне. Но это случалось не часто.

Многое в нем мне открывалось лишь исподволь, косвенным образом.

Читая некоторые произведения Мастера, я предположил, что когда-то его манили сцена, артисты, и жизнь их тоже манила. Возможно, он и сам выступал со сцены. Не случайно же в некоторых его вещах рассказывается об участниках самодеятельности, о студентах театрального училища. Ведь это он взял из жизни. Но что-то, видно, помешало Мастеру связать свою жизнь со сценой. Однако изжить в себе потребность игры на зри-

теля ему не удалось. Но эта была честная игра, а не лицедейство. Хотя, конечно, без некоторой рисовки не обходилось. Да и то сказать, в каком писателе не живет актер.

Случалось, я и сам иногда отрывал Мастера от письменного стола, когда его машинка упорно молчала, предлагал выпить кофе или чай, мне казалось, что ему нужна некая разрядка.

Он приходил ко мне на веранду, и я ставил перед ним стакан с горячим напитком, конфеты, вафли, печенье.

Говорили о разном и сейчас уже не вспомнишь всего. Однако вопросов литературного мастерства почти не касались. Наверное, только на семинарах разбираются стилистические приемы письма и литературные фигуры, усиливающие выразительность речи.

Но однажды он обронил несколько слов – был повод. Находясь в Москве, Критик взял несколько моих книжек у моей жены, которые я хотел передать в библиотеку Дома творчества /тут так принято/ и подарить соседям по столу, за которым сидел до того, как сблизиться с писателями.

Увидев одну из них у меня на столе – роман о летчиках, сказал свое излюбленное:

– Ты тоже великий человек, – открыл книгу наугад, прочитал вслух одно из предложений со словами «...накрылся простыней». – Лучше бы «простынею» – сказал он –Музыкальнее.

И мне тут же вспомнилась фраза из его повести: «гудело под землею метро». А позже я взял в библиотеке Дома творчества одну из его книг с предисловием Критика в котором приводились слова Мастера: «О, как бы найти мне то верное слово, которое бы совпало с

русской жизнью, не похожею ни на какую другую». Слово «русской» Мастер исправил чернилами на «русскою» и поставил рядом свою подпись.

— Надо читать вслух свои вещи, — продолжал Мастер. — Проверять звучание слов и словосочетаний. Так делали многие классики, стремясь выразить словами почти невыразимое, и таким образом проникнуть в самые потаенные уголки души читателей.

Его волновала интонация в словах и сам он добивался в своих произведениях особой, напевной интонации, и чтобы каждое слово вплотную подходило к другому слову, чтобы не было между ними щелей и пустот, которые снижают звучание.

— Вот за счет чего ты добиваешься мелодии, — сказал я. Он усмехнулся:

— И за счет этого, наверное. Но главное — настрой души. Она должна звучать, как музыкальный инструмент.

— По каким же камертонам ты ее настраиваешь?

Жизнь настраивает. И еще хорошие книги.

А иногда он не хотел ни о чем рассуждать. Ему нужны были действия, не важно какие, лишь бы не думать о том, что было до него и что будет после него. И мы брали у соседки авоську и бежали в магазин за маринованными помидорами, редиской, огурцами, прихватывали на обратном пути, будто нечаянно, бутылку вина, а то и что-нибудь покрепче.

Вино нам развязывало язык.

— Не дождусь, когда я расстанусь с этой мутью — книгой о молодости и начну сочинять про Екатеринодар, — говорил он, закуривая. — Боюсь просрочить время, осстать. Но все равно, в этой ерунде я скажу несколько

своих слов. Нечего голову ломать: жизнь проста. Эту мысль я тоже проведу.

Жизнь, она может и проста, — возражал я, — да люди-то не больно просты и честны.

— У каждого в душе должен быть свой бог, — сказал он мне на это. А тот, кто молится то одному, то второму, то третьему, ничего настоящего не создаст, хотя и может нахватать наград.

Я уже не раз улавливал в его словах нотки язвительного пренебрежения к некоторым литераторам — патриотам, поборникам правды. И тут мы вспомнили имя одного маститого, который достиг и славы и наград, поклоняясь в разное время разным богам, а потом отрекаясь от них, осуждая и кляня снятых с пьедесталов, устраивая пляски на их костях. И теперь он на виду, и о нем еще шумят, его приглашают выступать по телевидению. Но книги его, пьесы и сценарии не запомнились.

— Сытые боровы, — говорил он о таких. — От них не дождаться раскаяния.

У Мастера был свой бог, имя ему была «искренность», был у него и свой читатель, пусть не очень пока многочисленный, но верный его таланту. И он от души радовался, что литература принесла ему новых друзей и знакомых, которые постоянно писали ему и навещали его, приглашали в гости к себе, обещая создать все условия для работы.

Вот и я ему сказал:

— Будешь в Москве, обязательно заходи ко мне. Буду рад. И все домашние будут рады. Вспомним Коктебель, наши разговоры и вообще будет приятно встретиться.

Не очень-то я верил, что он приедет скоро ко мне. Неуютно он чувствовал себя в огромной столице, хотя и любил ее. Читал о ней много всего, исходил всю вдоль и поперек, многие места на всю жизнь остались в его памяти. Были там и люди, которые от души привечали его, звали жить. Да только не искал он лучшей доли в Москве для себя и ни к кому не расположился душой так, чтобы остаться здесь навсегда.

И хотя не мог без нее, приезжал и по делам и так, но душа его была там, где прошли его детство и юность, и как только освобождался от дел, сразу ехал на свою родину. Там он находил отдохновение для души.

— Раньше декабря не выберусь, — ответил он. — Надо писать книгу. Иначе со мной расторгнут договор — уже грозились, и тогда я останусь на бобах.

— Значит, заедешь в декабре. Попаримся в баньке. Ты ведь сибиряк и любишь париться. А у меня домашняя.

— У тебя дом свой что ли?

— В квартире соорудил.

— Ну ты, действительно, великий человек!

— Стараюсь, — смеялся я.

— А книги у тебя дома интересные есть?

— В каком смысле, интересные?

— Редкие. Те, что теперь не издают.

Мне уже было известно, что Мастер питал пристрастие к старым книгам и рукописям. После выхода одной из его повестей он писал Критику в Крым: «Я, милый мой, осень провел с летописями, и осталось дивное ощущение красоты русского слова и восприятия своей истории, жизни у летописцев. Читал и по Татищеву, и по последним крохотным переводам. Думал иногда с грустью: не нашлось вот в России человека, который бы

перевел Ипатьевскую летопись и полностью издал. Все это мечты на старых тропах дикого славянина с Кубани, который ~~по-детски~~ верит, что все, что дорого тебе, должно быть дорого и другим».

Редких книг у меня почти не было. В свое время я мог бы кое-что купить у букинистов, но не считал нужным. Жил сегодняшним днем и довольствовался подписаными изданиями. А теперь цены на старины подскочили, а я стал беднее.

— Так, кое-что, — сказал я.

— Например?

— Библия, Коран. Но они изданы в наше время. Подшивки «Нивы», «Вокруг света», Эдуард Фукс «История эротического искусства». Кажется, есть что-то Фрейда. Да ты читал его.

— Не читал.

— У тебя в одном месте упоминается.

— Это насчет гадания? Рассказывали.

— А хорошо получилось. Он промолчал, а я подумал: что значит к месту привести чей-то рассказ и сделать это с настроением, передать чувства людей.

— У тебя наверное много таких книг? — спросил я.

— Найдутся.

— А где ты их достаешь?

— Меняю. Плохие на хорошие.

— И находятся дураки?

— Кому что нравится. Но специально за книгами не гоняюсь. Некогда. Книжников перехитрить невозможно. Правда, мне недавно повезло: отдал я какую-то ерунду за том спереди Победоносцева, этого, по уверению еврейской прессы «реакционера», а на самом деле хра-

нителя государственных российских устоев и порядка, чем и сейчас занимаются многие из здравых государственных деятелей нашей страны. Вообще я менял только на исторические или мемуарные вещи. Обогащаться надо историей. Греки, римляне, Восток, Египет. Ну и Россия – само собой. Как прожить на свете и не узнать трагедии человеческих цивилизаций?! В старых журналах много было замечательных мемуаров, непрятательных, как семейная хроника Аксакова, без всякого политизта и намеренной лжи. Не будет больше времени, равного по простоте веку девятнадцатому и ниже.

По правде говоря, я мало знал девятнадцатый век, не занимался им специально. Представления о нем вынес из книг, которые проходили в школе по литературе и истории. Но это отошедшее в небытие время и меня чем-то пленяло. Видно не случайно во все века оно называлось старым добрым временем.

Как-то по дороге домой, я завел речь о писателе-сибиряке из числа тех, кто быстро выдвинулся и теперь был в фаворе, переехал в Москву, возглавлял один из журналов.

– Плотно пишет. Талант. Но тяжеловато. Мрачно у него все, – сказал я и ждал, что ответит Мастер.

Узурпатор, – сказал он и перевел разговор на другое. Он редко распространялся о писателях, которых не любил, словно не хотел удостаивать какого бы то ни было разговора. А может, ему просто было неприятно о них говорить.

Потом я долго думал над его репликой, понимая, что ее надо воспринимать иносказательно.

Мне довелось как-то во время одной поездки военных писателей по военным частям с целью ознаком-

ления с жизнью солдат и офицеров общаться с этим сибирским писателем, и слушать его выступления. Говорил он гораздо хуже, чем писал, ну да это не так-то и редко случается. Мастер вот тоже не был краснобаев. Поражало другое: железобетонный язык. Казалось, он и сам был сделан из железобетона. Однако, писал здорово. Книги его не залеживались в магазинах. По ним ставились многосерийные фильмы на телевидении, тоже тяжелые и мрачные, оставляющие неприятный осадок на душе. Мне они не нравились, хотя и были правдивы. Но ведь правда правде рознь. Как это у Гете: «В свою ты хочешь верить ценность. Уверуй прежде ценность мира».

По этой же причине не нравилось мне творчество и еще одного московского писателя, который, правда, стал выступать в печати очень редко. И вот я позволил себе отрицательно отзываться о нем, а вернее, о его, как мне казалось, натуралистических рассказах. Герои их мне были несимпатичны. Говоря по совести, я тут не много, а может и много, обобщал, потому что читал далеко не все этого автора. Но то, что читал, мне не нравилось. И тут, видимо, хотел я того или нет, к моей оценке опять же примешивалось впечатление от личности этого писателя, с которым меня очень давно, когда я только начинал печататься, познакомил мой хороший приятель, тоже писатель, очень мягкий и очень лиричный. Представляя нас друг другу, мой приятель, видимо для того, чтобы польстить мне или поднять меня в его глазах, назвал меня тоже писателем, хотя я сам себя та-ковым, конечно, не считал.

– Не слышал такого – сказал на это тот писатель. Вот писателя, – тут он назвал свое имя, – знаю, а тебя нет.

По сути сказавший это был прав, но по форме... И мне эти слова запомнились на всю жизнь и, обиженный ими, я не стал читать других более поздних и более зрелых вещей своего обидчика, хотя он немногим в свое время шумела печать. Да и сейчас еще его фамилию ставят иногда в литературных обзорах.

В ответ на мои слова Мастер сказал:

— Это мой крестный отец. Ему первому я показал свои рассказы.

Хотелось узнать, случайно Мастер обратился к нему или почувствовал в его вещах родственную душу, но я не стал об этом спрашивать, а он закончил:

— И пишет он прекрасно, по-русски пишет.

Сказал, как ушат холодной воды вылил мне на голову. Давно я не чувствовал себя так неудобно. Но что делать — слово не воробей...

— Жалко, что в свое время я тоже на север не подался. Те края еще хранят в себе память святой Руси, чего уже не встретишь в других местах, — продолжал Мастер с грустью в голосе. — А теперь поздно. Не сказать мне; «Поистине был я, как птица, всю жизнь».

А насоками ничего путного не сделаешь. Ты почитай, почитай его получше.

— А что почитать?

Ну вот к примеру, — и он назвал мне несколько вещей, которые, видимо, нравились ему больше остальных и с которыми, увы, я не был знаком. — Ты все-таки почитай...

Нет, Мастер не сердился на меня за эти мои слова о его «крестном отце». Наверное, он расценивал их, как слова профана или ребенка и это еще больше обескураживало меня.

— Он первый и оценил меня, — продолжал Мастер. Понес мои рассказы в толстый журнал, представил меня ныне покойному редактору этого журнала. И там меня очень быстро напечатали.

Позднее я узнал от почитательницы Мастера, которая подарила ему Бунина, как тот самый «крестный», уже испытавший славу и возомнивший о себе, вошел в кабинет редактора, читавшего рекомендованные к печати произведения и положил сверху на стопку рукописей рассказы Мастера, сказав: «С них начните». И эти рассказы затмили все остальное, что лежало на столе.

В тот же день я взял имевшиеся в библиотеке книги того писателя, но названных Мастером рассказов там не оказалось. А те, которые я стал читать, чем-то перекликались с рассказами крупного русского прозаика и поэта: то ли своей интонацией, то ли речевым построением, то ли писательской точкой зрения или видения. Ничего не скажу: рассказы впечатляли, хотя и походили на слепки. Перенесенные на современную почву, эти «слепки» местами не уступали оригиналу, а иногда, может, и превосходили его. И все-таки я не испытал тех чувств, которые испытываю, читая Мастера, давно пробившего свою тропу в литературе. И пусть она еще не сильно широка, но ее не спутаешь с другой. Тот писатель (все-таки подражатель) рассказывал о своих героях без заинтересованности к их судьбам. Он был как бы в стороне от того, чем жили его герои, и его не волновало, что с ними произойдет. Иногда казалось, что автор насмехается над ними, выискивая в их облике и поведении что-то нежелательное, то, что люди прячут даже от себя. Я не обнаружил у автора и тени поэтизации героев, влюбленности в них, что отличает произведения Мастера.

Надо ли писателю раздевать своих героев, смаковать низменные начала человека? И потом, став известным, Мастер не оброс спесью, не задирал носа. А это наверное тоже откладывает свой отпечаток на творчество.

Как-то мы снова заговорили о «крестном» Мастере, о его молчании.

— Пьет. Сидит у себя на даче и пьет, — сказал Мастер с грустью. — А кто-то в это время портит бумагу, которая для него предназначена Господом Богом.

— А на какие шиши пьет?

— Занимается переводами. Помолчали.

— А кого бы еще из современников ты порекомендовал мне?

Он назвал пять-шесть имен. Среди названных не было тех писателей, фамилии которых постоянно мелькают в прессе. Но их и не замалчивали. Один из прозаиков был его земляком.

— Он сейчас всех обогнал, — сказал Мастер.

— Чем он тебе нравится?

— Почитай. Мастер уходил от разговора об этом писателе, словно ему не по себе становилось, когда о нем заходила речь. А мне так хотелось узнать, что именно нравится ему у этого писателя, безусловно, очень талантливого. Сейчас, мне думается, его таланту завидуют и кое-кто из признанных, причисленных к маститым, обласканным всякими почестями, чье творчество уже изучается в школах и вузах.

Я отступил на время, а потом, как бы ненароком, к слову, снова завел речь об этом писателе-самородке из

Сибири. Однако, опять Мастер уклонился от беседы. Почему?

Мне вдруг показалось, что он и сам завидует своему земляку.

Что говорить, язык у этого сибиряка такой сочный, такой насыщенный, что его можно воспринимать только маленьными порциями. Чтобы писать так — нужно жить среди людей, о которых пишешь, и которые говорят на таком языке. Не потому ли этот писатель и не перебирается в Москву. Конечно, ему нельзя не позавидовать.

И еще мне хотелось успокоить Мастера, сказать ему, что сам он пишет ничуть не хуже, а может в чем-то еще и лучше, потому что проще, душевнее и возвышеннее.

Произведения писателя-сибиряка напоминали мне мастерски выполненные фотографии, на которых запечатлено все то, что попало в объектив, до мельчайших, порой случайных подробностей. Заретушируй некоторые из них, и ничего не изменится.

А творчество Мастера было похоже на тонкие прозрачные акварели старых мастеров, разные и по сюжету, и по манере исполнения. И я знал, был уверен (не знаю, откуда у меня была такая уверенность), что все его последующие вещи тоже будут отличаться друг от друга. Истинный талант не может копировать себя.

Мне хотелось бы возразить Мастеру. Не тех типов отыскивал в жизни и рисовал его земляк. Не теми героями славилась Русь — и в былинные годы, и теперь.

Нет, я не требую, чтобы тот сибиряк непременно создавал светоносные образы, хотя и желал бы среди прочего встретиться на страницах его произведений с такими людьми, которые бы влюбляли в себя, очаровывали и вели за собой, как очаровывали нас в детстве

былинные богатыри и добрые молодцы из русских сказок, а потом, когда мы научились читать, положительные /я не боюсь этого слова/ герои из хороших книг. Ведь не случайно же многие такие книги мы проносим через всю жизнь. Их находили в вещмешках у погибших в бою солдат во время войны.

Мастер никогда не спрашивал у меня, какая из его вещей мне больше всего по душе. А если бы спросил, то не легко было бы ответить ему.

Каждая по-своему хороша и ни одна не повторяет другую. И все-таки чаще всего, пожалуй, я возвращаюсь к его новелле, которую можно бы сравнить с внутренним монологом или исповедью молодого писателя, в ней рассказывается об одном умном, очень требовательном к себе и к людям, но, видно, не очень удачливом в жизни русском литераторе. Идет там речь и о других людях, связанных с литературой: и о живых, и о мертвых, чья жизнь и творчество волновали Мастера. Но, рассказывая обо всех, он всегда имел в виду одного, его психологический портрет. Я и мысли не допускал, что это вымышленное лицо, я верил в его реальность и завидовал Мастеру, что судьба свела его с таким необыкновенным человеком. Мне не довелось в жизни встретиться с подобной душой.

И вот однажды, беседуя за чашкой кофе, я все-таки спросил у Мастера, кто он, тот удивительный человек? Мой вопрос вырвался как бы помимо моей воли, (может, потому, что себе я его задавал не раз) и уж через секунду я пожалел об этом. Но слово не воробей...

Мастер вдруг насторожился как-то внутренне и посмотрел на меня так, словно первый раз увидел. Он сразу понял, о ком я завел речь. Лицо его помрачнело,

стало жестким и непроницаемым, а глаза превратились в щелочки. Нас как бы разделила стена – казалось, протяни руку и наткнешься на эту стену.

– Не все ли равно, – сказал он с плохо скрытым раздражением.

Я почувствовал, как уменьшаюсь, съеживаюсь под его взглядом. Руки мои не находили места, все перебирали лежавшие в тарелке конфеты.

Молчание наше затянулось. Мне показалось, что Мастер сейчас встанет и уйдет. Но этого не случилось.

– Меня уже спрашивали об этом, – сказал он более миролюбиво. – И при встречах, и в письмах. И я всем отвечаю одинаково. И тебе скажу те же слова: считай это литературным образом. Я мог его придумать.

«Мог, – кивнул я. – Но ты его не придумал. Так не придумаешь. Слишком много неповторимых деталей».

Он словно прочитал мои мысли:

– Ну не придумал. Какое это имеет значение?

– Вобщем-то да.

– Один даже почему-то решил, что я это с С. написал, – (он назвал фамилию одного одиозного литератора) – А я его и в глаза не видел. Мог бы увидеть. Как-то отдыхали рядом. Но я подумал: зачем буду мешать человеку и не пошел к нему.

Помолчали немного.

– А вообще хватит об этом. Надо работать. Ты мало работаешь, старик. Разболтался совсем.

– А ты?

– И я тоже, – он вдавил окурок в обертку от конфеты и поднялся с кресла. – Пойду, постучу, пока Критик не отобрал машинку. Кстати, в Москве сейчас можно достать портативную, типа «колибри»?

– Наверное, можно. Достают же люди.

Узнай, пожалуйста. Мне нужна такая, которую бы я легко таскал с собой повсюду – маленькую. Меня бы устроил и мелкий шрифт. Хотелось бы, чтобы вид был как у женщины, приятный, чистенький, чтобы хотелось потрогать и даже прислониться бедром. Ясно? – Он улыбнулся и подмигнул мне.

Он ушел, а я долго еще сидел в своем плетеном кресле, злясь на себя за то, что полез в душу к человеку. Совсем не хотелось мне этого делать. Знал ведь, чувствовал, что он не из тех, у кого нараспашку душа. Если она и раскрывалась иногда, то не для того, чтобы туда лезли. При малейшей опасности она захлопывалась, как ракушка. Вместе с тем, я был тронут, что в конце разговора он перешел на шутку, как бы давая мне понять, что не обижается на меня.

Затеяв небольшую постирушку, я взял чайник и пошел за горячей водой в соседний корпус, где имелся титан. Комнату свою я не закрывал. Когда вернулся, увидел на столе записку: «Лев! Тебя можно обокрасть, ты и не заметишь! Ты тоже великий человек. Коктебель». Далее стояло число и подпись Мастера, внизу была приписка: «В 18.30 – прогулка на катере «старка» Моторист...» и была названа фамилия Литературоведа.

Так я впервые увидел почерк Мастера. Писал он крайне неразборчиво. Прямые буквы торопливо набегали одна на другую и таяли на концах слов. Владельцев таких почерков графологи относят к людям неуравновешенным и нетерпеливым.

О какой прогулке сообщал мне Мастер? И надо ли было понимать его слова как приглашение мне? Я пошел на его половину, чтобы выяснить это, радуясь в душе и шутливой записке, и всему тому, что за ней стояло.

Мне давно хотелось куда-либо съездить с Мастером, поболтать на досуге. Дверь в комнату Мастера была открыта и я, не поднимаясь на террасу, окликнул его, как это обычно делали все его визитеры.

– Заходи! – громко сказал он, отрывая голову от бумаг на столе. Я зашел. Комната у него была такая же, как и у меня, и беспорядок был примерно такой же. На стульях висели полотенца, брюки. Стол был завален бумагами. В добавление ко всему в комнате сильно пахло табаком. И сам он был весь прокуренный и будто закопченный от дыма.

В машинку был вставлен чистый лист. – Не вытанцовывается? – спросил я, присаживаясь рядом. Он не ответил. Выдвинул ящик стола, в котором лежал большой сверток с наполовину высыпавшимися из него леденцами, наподобие тех, которые дают на взлете в самолетах пассажирам, (с их помощью он намеревался отвыкнуть от курения), пошарил что-то вокруг, потом достал из пепельницы несколько окурков и стал мастерить самокрутку. Я наблюдал за ним. Вот он сделал первую затяжку, потом еще одну и еще, а дым все не выходил обратно, и мне вдруг так сделалось жалко его и зло на него взяло: если он не бросит курить, то это доброму не кончится. Как сказать ему об этом, чтобы понял меня правильно, не обиделся? А он вроде бы догадался, о чем я думаю, сделав еще одну затяжку, отложил самокрутку в сторону и заговорил. О чем именно, я не помню, потому что был поглощен зрелищем того, как вместе со словами выходят из рта Мастера сизые ключья дыма. В несколько секунд его

обволокло этим дымом, и мне стало казаться, что он сам возник из него, как джин из бутылки.

— Так недалеко и до черного кашля, — сказал я ему.

— Ты о чахотке?

— И о ней тоже.

Он разогнал дым ладонью и виновато улыбнулся.

На придинутом к стене рабочем столе Мастера кроме машинки лежала раскрытая амбарная книга с какими-то записями, красивый толстый блокнот в яркой красной обложке (не иначе, как чай-нибудь презент), несколько цветных фломастеров, папки с рукописями и стопка писем.

У стены стояла вырезанная из журнала иллюстрация — портрет неизвестной молодой женщины в костюме далекого от нас времени: красном расшитом кокошнике и сарафане того же цвета, туго обхватывавшем цветущую грудь.

Мне думается, этот портрет крепостного художника И.П. Аргунова не уступает по выразительности Леонардовской Джоконде. И тут же была еще одна цветная вырезка — Софийский собор Печерской лавры:

А рядом стоял графин с букетом цветов, который он купил днем раньше. Не знаю, всегда ли у него стояли на столе цветы, но эти мы покупали с ним вместе, и нам пришлось заглянуть ни в один двор, прежде чем мы их нашли. Мастер хотел, чтобы букет был большим и красивым и все сокрушался, что у хозяина мало осталось цветов.

— Можно подумать, что ты собираешься к кому-то на день рождения или к себе ждешь гостей, — сказал я ему.

Он только посмотрел на меня и ничего не ответил. Мне хотелось подольше задержаться в его комнате, еще за что-то зацепиться взглядом и все хорошенько запомнить, чтобы потом подумать обо всем, что увидел. Хотелось знать, почему он поставил перед собой портрет неизвестной в русском костюме и фотографию собора. Ведь это было с чем-то связано. С чем же? Может быть, эти репродукции настраивали его, заставляли сосредоточиться, вызывали какие-то мысли и чувства.

И еще хотелось бы полистать его «кондуит».

Увидев, что я задержал свое внимание на записной книжке, он спросил:

— У тебя тоже есть?

— Увы, — сказал я.

Действительно, увы. Человеческая память похожа на женщину. Она может всю жизнь держать при себе какие-то дорогие ей пустячки и выбрасывает важное.

— И что же ты все-таки записываешь? — спросил я, видя его расположность к такого рода разговору.

— Главным образом мысли по тому или иному поводу. И те чувства, которые испытываешь, в связи с чем-то.

Да, он часто шел от мыслей и чувств и, может, в этом был главный фокус его произведений. Наверное, потому-то они так нравились впечатлительным натурям, подверженным переменам в настроении. Они вспыхивали каждой своей строчкой, хотелось смеяться или грустить. Чаще все-таки грустить, потому что Мастеру, на мой взгляд, лучше удавались элегические вещи, в которых неизменно присутствовала осень, опавшие листвы, дожди...

Я полистал его записную книжку. Чего только в ней не было. Среди записей по поводу каких-то событий

попадались цитаты из старых книг, авторы которых давно преданы забвению, строки из летописей, забавные монологи словоохотливых попутчиков, рецепты лекарств и кулинарные рецепты, что-то по-французски. Кстати, он как-то сказал мне, что писателю нужно знать другие языки, чтобы можно было читать иностранных авторов в подлиннике.

Вдруг попалось на глаза и незнакомое слово: «Ампелография». И тут же стоял большой знак вопроса и рядом дата – в этот день мы повстречались с Поэтом, когда он нес охапку книг и в их числе неведомую нам Ампелографию. А чуть ниже Мастер сделал запись, объясняющую это слово «...описание всех сортов винограда». По всей видимости Поэту требовался этот справочник для работы над своей книгой о крымских винах.

Попадались и мимолетные карандашные наброски: морской берег, солнце, горы, фигурки людей.

К отдельным листам были пришиплены скрепками любительские фотокарточки. На одной из них было за- снято открытое круглое лицо женщины со спутанными спадавшими на лоб волосами, голые покатые плечи. Она зорко высунула язык фотографу, которым по всей вероятности был сам Мастер.

– Кто это?

– Жена на пляже.

Судя по снимку его жену можно было отнести к женщинам по своему сложению скорее крупным, чем субтильным, и мне, невольно, вспомнился наш разговор на набережной об Августе Фореле и его теории полового подбора...

Листая записную книжку Мастера, я не мог не обратить внимания и на то, что при всей своей неоргани-

зованности в быту он был скрупулезен в ведении своих записей. Они были выполнены четко, везде стояли даты и ссылки на источники.

В своем труде он не терпел безалаберности, неточности, потому что то и другое неминуемо вело к недоверию и фальши. А фальшив он считал едва ли не самым большим грехом писателя. И никогда при изображении жизни не поступался правдой в угоду редакторам, издателям и критикам, которые, как мне стало известно от его друзей, далеко не всегда были объективны в оценке его творчества.

Читая записи Мастера, я так пожалел (какой уже раз в жизни!), что сам ничего не записывал. Все казалось: зачем писать и так все запомню, хотя и знал по опыту, что многое выветрится, а мелочи, которым не придавал значения, вдруг покажутся очень важными и так захочется их рассмотреть мысленным взглядом. Но поздно. То, что утонуло, всегда всплывает в преображенном виде. И, случается, мы не узнаем того, что было рядом.

А сколько раз я сетовал, что неставил дат под своими заметками. И сейчас не ставлю. Иной раз попадет на глаза любопытная заметка, начинаешь вспоминать, когда, в связи с чем она была сделана, и не можешь вспомнить. Даже ориентировочно трудно бывает определить время, и сопоставить не с чем. Эх, расхлябанность! – корил я себя и продолжал забывать ставить даты. А потом, когда годы пошли под уклон, уже умышленно забывал. Они теперь пугают меня, эти даты, напоминают о быстротечности нашей жизни, о том, что мало было сделано.

Думаешь: Боже мой! неужели минуло десять лет с того времени и сердце сожмется. Так мало осталось! На

глаза попалась запись о взаимоотношениях мужчины и женщины, о том, как по-разному они смотрят на одно и то же явление. Я стал читать вслух. Хорошо было написано.

— Вот вставлю куда-нибудь при случае, — сказал он, когда я кончил читать.

«Надо будет хотя бы о наших встречах и разговорах с Мастером что-то записать, — подумал я, слушая его неторопливую речь с протяжкой слов. — Ведь потом пожалею, если не сделаю этого». Но только что-то и тогда удержало меня от того, чтобы исполнить свое намерение. И вот теперь, вспоминая о нашем общении с Мастером в Коктебеле, я уже жалею, что ничего не записывал по свежим впечатлениям, когда в моих ушах еще звучал его глуховатый голос. И я вынужден сейчас все восстанавливать по памяти и чувствую, что она меня подводит. И вдруг он вспомнил о своей записке, что оставил у меня на столе, посмотрел на часы: было уже поздно претворять в жизнь то, о чем там говорилось. «Старка» осталась в магазине.

— Ты куда уходил? — спросил он. — Может, я оторвал тебя от дела.

— Хотел носки постирать. Воды горячей принес.

— Иди, стирай, а то остынет.

— Уже остыла. Да и Бог с ней. А ты что делаешь?

— Так, ничего. Что-то не идет строка. Может, на письмо соберусь ответить. Давно надо бы.

— Кому?

Он не сказал, снова стал рыться в окурках и мастерить папиросу, закурил:

— Хочешь почитаю? — вдруг спросил он.

Мастера нельзя было назвать доверчивым, но иногда он откровенничал под настроение, высказывал свое отношение к людям, говорил о сугубо личном.

— Почитай, — сказал я, тронутый тем, что он приобщил меня к людям, которым можно открыться, и немного почувствовал себя неловко — не ожидал от Мастера такого предложения. И он, наверное, тоже заметил мою неловкость или просто пожалел о сказанном, замялся как-то на секунду, искоса посмотрел на меня и развернул бумажный лист.

Письмо было от женщины. Уже из первых слов я понял, что он и она были давно знакомы и, наверное, у них была своя тайна. А может и нет, может, она просто была неравнодушна к нему, как это бывает иногда между читательницами и писателями. Случается, некоторые даже влюбляются заочно и объясняются в любви.

Письмо было умное и удивительно нежное, что не часто совпадает одно с другим, когда пишет женщина. Она мягко упрекала его в молчании, говорила, что он не стоит того, чтобы о нем думать, переживать за него, но она не может иначе. Ей хотелось видеть его и ласкать, заботиться о нем. И еще там было много всего, на что не склоняются любящие женщины. Каждая строка дышала беспокойной нежностью и тоской по утраченным дням, которые вряд ли когда вернутся. Но она была рада и тому, что он есть и о нем можно думать. Она жила его жизнью и в ее словах-вопросах, с которыми она обращалась к Мастеру, так явственно было видно бережливое, как к ребенку, отношение к нему.

Он читал из своих рук, но я сидел рядом и водил глазами по строчкам. Почерк у женщины был крупный, размашистый и несколько небрежный. И были большие, почти в пол-листа поля. Так чаще пишут люди, которым

приходится много писать, а потом еще и править себя, что-то вписывать между строк и на полях. Да и лист был не тетрадным, а предназначенный для пишущей машинки. Все это наводило на мысль, что женщина имела касательство к литературе.

Я попытался представить себе эту женщину. Она почему-то виделась мне хрупкой по сложению, с тонкими чертами лица, умной, обаятельной, преданной до самоизвестия и требовательной в любви.

И было еще в письме что-то такое, что говорило о большом препятствии, лежащем у них на пути к сближению. То ли он чем-то не подходил ей, то ли она ему. Скорее всего, в ней была причина. И она об этом знала. И тут уж ничего нельзя было поделать. Мы полны внешних или внутренних несоответствий, полны предрассудков, связанных с этим, хотя может и нравимся друг другу, и это порой так мешает нам и столько приносит душевных мук.

Когда письмо стало подходить к концу, я отвел глаза от листа. Не хотелось читать то, что Мастер, возможно, желал скрыть от меня. Да и какое мое было дело. Я не ошибся в своем предположении. Он не назвал имени, которое должно было стоять в конце. Однако, уже то, что он посвятил меня в свою тайну, /а может, это и не было тайной?/ очень растрогало меня и обязало.

Отложив письмо в сторону, он сказал с напускной грубоватостью:

— Пишут вот. Надо отвечать.

Мне хотелось, чтобы Мастер написал ей тоже хорошее теплое письмо. Думалось, что она этого заслуживала. Впрочем, я не сомневался, что он это сделает. Я чувствовал, что их связывало нечто большее, чем дружба.

Как-то вскоре после одного нашего разговора с Литературоведом по поводу того, что к нему долго не приходила любовь, Мастер сказал мне, что он свою первую любовь, может быть самую большую и самую настоящую, упустил. И столько грусти было в его словах, столько тоски, что мне стало невыносимо жалко его.

Мы никогда не говорили с ним о том, любит ли он свою жену, наверное, любит и скучает без нее. Но мне казалось, а почему и сам не знаю, что это была не та любовь, о которой он мечтал. Ну да что говорить. Мужчины все ищут и надеются найти в женщине что-то необыкновенное и находят, что ищут. Но проходит время и необыкновенность улетучивается, как туман. Многие ли женщины умеют казаться в глазах мужа всегда новой?! Впрочем, это относится и к нам — мужчинам.

Были бы Мастер счастлив со своей первой любовью? Это еще вопрос.

И вдруг он сказал:

— Нет, не жалеют они все-таки нас, — и задумался.

— Кто нас не жалеет?

— Женщины.

— Какие женщины?

Так странно мне было услышать такое заявление о женщинах от человека, который так возвышенно и трогательно рассказывал о них в своих книгах, о женщинах, которые сумели вдохнуть в Мастера то, без чего ему невозможно было бы создать свои замечательные образы. Женщины, о которых рассказывал Мастер, любили мужчин нежно и возвышенно, были преданными до самоотречения. Эта любовь возвращала их к дням девичества. И пусть они выдумали ее, потому что любовь и выдумка — родные сестры, пусть мужчины были вовсе не такими,

какими виделись опьяненным любовью женщинам, но это не имело значения. Они были счастливы в своем долгом упоительном сне, напрочь забывая, что это сон. И расставаясь с ними, они предавались воспоминаниям и тосковали душой, и надеялись на встречу.

Он писал о женщинах так, как будто всю жизнь только и занимался ими, их сердечными тайнами. Но где-то между строк проглядывала его боязнь их, хотя в этом ему, наверное, было бы нелегко признаться даже самому себе.

— Все они поют одинаково, — сказал Мастер через минуту. — И мы для них то же, что дом для кошки, который среди людей принято именовать семейным очагом, где они выступают в роли его хранительниц. В первую очередь они охраняют себя в этом очаге, свое благополучие. И заботятся они о нем, а не о нас.

— Ты это серьезно? — Я где-то интуитивно соглашался с ним в ту минуту. И мне подумалось: наверное, он мог быть дерзким с женщинами, даже грубым, мог наговорить такого, что потом топором не вырубишь. Но вряд ли злоба держалась долго в его душе, она улетучивалась вместе со словами, и он снова становился нежным. За нежность и любили его. Да только многие ли женщины умеют не слышать от мужчины обидных слов, сказанных «под горячую руку». Если бы умели, насколько счастливее была бы жизнь. Они, наверное, живут своими обидами?

— Когда был проведен опрос учащихся по специальной анкете, где нужно было перечислить по степени важности определенные мужские и женские добродетели, то девушки на первое место поставили уважение к

женщине, а уважение к мужчине отнесли на одно из последних мест.

Помолчав немного, Мастер закончил:

— Любовь женщины — это то же насилие, только очень утонченное, завернутое в красивую бумажку. Они всегда видят в мужчине пленника и готовы на все, чтобы удержать его у себя. Вот и выходит, что они, жалея мужчин, в первую очередь жалеют себя. Да, себя!

Если о чем-то или о ком-то рассказывал Мастер, то часто в конце фразы, после небольшой паузы, добавлял одно заключительное слово или одну фразу, будто печать ставил перед всем, ранее сказанным. И затем переводил разговор на другое. Незаметно для себя я тоже позднее стал так говорить и у меня тоже стали находиться какие-то подытоживающие слова. И случалось, при разговоре с Мастером мы многое упускали, как само собой разумеющееся, а обменивались только заключительными репликами и хорошо понимали друг друга.

Иногда он представлялся мне каким-то перекати-полем, странствующим по воле ветров. Казалось, он и вырос в дороге, кочуя с места на место, и закончит свою жизнь тоже где-то в пути.

Как знать, может, он уезжал на новое место для того, чтобы вспомнить старое и посмотреть на это старое издалека, и почувствовать его утрату, и написать об этом своем чувстве, написать совсем иначе, чем написалось бы, если бы он остался на старом месте.

О семье своей он говорил мало, можно сказать, ничего не говорил. Только похнычет чуть-чуть: «Что-то домой хочется, к доченьке. Славная у меня доченька растет».

Из головы у меня не выходило письмо от женщины, с которым меня только что познакомил Мастер. Чувствовалась глубоко личная боль в ее словах. Мне казалось, что та женщина очень несчастна. В чем заключалось ее несчастье, я не знал. Почему я так думал, тоже не могу сказать. Может потому, что такие красивые и духовные письма обычно умеют писать женщины с физическими изъянами или больные. Красота слов и поступков, трогательная задушевность во взаимоотношениях чаще приходит через страдание. Красотки обычно не обременяют себя сердечными излияниями, да у них и нет потребности в этом. Они всегда любими, не одним, так другим мужчиной, а то и сразу несколькими.

Та, что написала Мастеру такое замечательное письмо, понимала, что ни на что не могла претендовать. Понимала умом, но сердцу она не могла приказать. А писала она сердцем. Не теряла надежды когда-нибудь снова встретиться.

Может и правда, жалея мужчин, женщины в первую очередь жалеют себя.

А потом я вспомнил письма, которые писала ему мать.

— Это письмо от женщины ты тоже куда — нибудь вставишь? — спросил я.

— А почему бы и нет, — сказал он с улыбкой, в которой было что-то непонятное мне.

И вдруг огородил меня:

— Я сам придумал это письмо. И оно адресовано одному из моих героев.

— Но почерк...

— У нее такой почерк и мой отец пишет так.

— Странно.

— Ладно, — сказал он мне, закончив чтение, — надо все-таки написать этой женщине.

Я совсем был заморочен им.

— Для рассказа что ли?

— Там будет видно, — ответил он и опять мне показалось, что он что-то не договаривает.

Так я и ушел, не поняв, где в этой истории правда, а где выдумка.

А вечером заговорил об этом рассказе с Литературоведом.

— Зря он мусолит эту тему. И я ему об этом уже говорил, — заметил Литературовед.

— Почему?

— Надо выбираться на столбовую дорогу. А он все закоулками бродит.

Не хотелось соглашаться с Литературоведом.

Может, он был и специалистом по части литературы, но суждения его были всегда слишком прямолинейны, ортодоксальны, без оттенков. Сам-то он шел столбовой дорогой и писал только о том, что бесспорно, общеизвестно, не вызывает сомнений, апробировано, о чем уже писали другие. Он действовал наверняка. И мне хотелось знать, что его объединяет с Критиком, который не выбирал проторенных дорожек, действовал на свой страх и риск, хотя и не всегда был искренним, как Мастер. Что же касается столбовой дороги, то она и так уже порядком перегружена. И все мчатся в одну сторону, на четвертой скорости мчатся, точно боятся опоздать к сроку, подъехать к шапочному разбору.

Узнав, что я живу в одном доме с Мастером, мои соседи по столу, где я сидел раньше, милые девушки из

Донецка, несколько раз уже заводили о нем разговор со мной. Им хотелось бы встретиться с Мастером в непринужденной «домашней» обстановке и поговорить с ним немного, получить автограф. Они просили меня помочь им в этом

Я был не против того, чтобы взять на себя организацию такой непринужденной встречи, но не знал, как к этому отнесется Мастер. Не все писатели любят рассказывать о себе, о своей работе.

Мы решили поставить Мастера, что называется, перед пост факту. И вот однажды, за несколько дней до своего отъезда девушки пришли ко мне в гости и принесли огромную коробку конфет. Я поставил чайник и отправился к Мастеру за стаканами – по крайней мере был подходящий предлог для того, чтобы попытаться вытащить его из своей комнаты.

Когда я пришел к Мастеру, он читал какую-то рукопись. Как всегда было накурено и не прибрано на столе.

– Не хочешь проветриться? – спросил я его. – А заодно бы и помещение проветрил.

– Погулять?

– Посидеть в теплой компании, попить чайку.

– Успеется. Садись, – он пододвинул ко мне стул.

Я сел, и он вдруг набросился на меня с упреками:

– Опять бездельничаешь. Ты зачем сюда приехал? Работать или чаи гонять? – а потом уже на тон ниже: – не умеем мы ценить время, не умеем. Вот читаю нашего Критика. Все в меру, не то, что у генеральши. Не знаю, как там насчет Бога, а воспитание-то он получил, не чета некоторым.

О романе Критика уже не раз заходил разговор в нашей компании. В основу его автор положил свою био-

графию, большую любовь и несчастливый брак. Она ушла к другому, родила от него другую дочку, а Критик продолжал ее любить. Об этой любви у нас тоже не раз шел разговор.

– Хорошо получается, – сказал Мастер – пиши, дорогой, о любви. О счастливой, или несчастной – неважно. И будет успех. Только хорошо пиши.

– А если это не типично?

– Все великие списывали с самих себя и со своих знакомых.

И тут я посмотрел на часы, задерживаться дольше было неудобно.

– Ну так как? – спросил я Мастера, боясь с его по-доконника стаканы. – Составишь компанию?

– Ладно, кипяти чай.

– Давно уже скипел.

– Сказал – приду, – он снова уткнулся в рукопись.

Мои гости помогли собрать нехитрый стол из двух тумбочек, в центр которого мы водрузили коробку конфет. Заварили чай в кружке.

Одна из девушек, она ходила в длинной темной кофте с продольными белыми полосами и чем-то смахивала на молодую монашку; Мастер назвал ее за глаза «полосатой», принесла с собой китайский гороскоп. Стала предсказывать наши характеры и наши судьбы в соответствии с датами наших рождений. И в это время пришел Мастер.

Я представил его моим гостям, назвав его полу-шутя, полусерьезно живым классиком. Думал, обидится – нисколько. А может, ему это даже польстило.

Мастеру тоже налили чай и тоже стали определять его характер и судьбу.

Он весь превратился во внимание, даже глаза его стали больше, а потом, как-то незаметно для всех нас, листы с гороскопом попали в его руки и он углубился в чтение. Вот уж не думал, что его может так заинтересовать эта чепуха.

Из развесистых кустов невесты вынырнул, точно из белой пены, тихий и любопытный Поэт, как видно, он делал свой очередной обход писателей и смотрел, кто чем занимается. Может он вел даже какой-то учет наших дел. Мы, конечно, пригласили его к столу, налили чаю, попросили почитать свои стихи.

— Недавно я был в гостях у знакомого винодела в Ялте, в подвалах, которые раньше принадлежали княгине Барятинской, — сказал он, — и посвятил ему стихи. Вот они. И он стал читать:

Я не раз у него бывал,  
Пил вино, с друзьями сидел...  
Нынче снова к себе в подвал  
Пригласил меня, винодел.  
Здесь прохлада и тишина,  
И густой аромат вина.  
Смотрят бочки на старика,  
Растопырив свои бока,  
А поставь вино на столы  
И лугами пахнет с Яйлы —  
Это мастер вдохнул в состав  
Тонкий запах цветов и трав.  
Светлорозов, темновишнев  
Спит в бутылках хмельной мускат.  
Сколько свадеб, сколько пиров  
С этих полок на нас глядят.

Стихи моим гостям понравились, и мы стали просить Поэта почитать еще. Прежде чем выполнить нашу просьбу, он рассказал нам об этом замечательном виноделе Скибине и его родном брате, который много лет проработал виноделом в Новом свете. Незадолго до оккупации Крыма фашистами он замуровал в подземных галереях емкости с ценными винами. Узнав об этом, немцы потребовали, чтобы он указал им место их скоронения. Но он отказался, и его расстреляли в тех же подвалах.

Поэт посвятил герою стихи и вот теперь тоже прочитал их. И ему погадали по гороскопу. Мастер делал остроумные комментарии, все смеялась.

— А вы верите в судьбу? — допытывалась владелица китайского гороскопа. Мастер не говорил ни «Да», ни «Нет», и это почему-то разжигало ее любопытство,

В комнату к нам заглянула горничная. Что сделала любовь к Критику с этой девчонкой. Я просто не узнал ее: соорудила прическу, навела марафет.

— «Глупый мотылек! Зачем ты летишь в огонь, — подумал я. Сгорят твои крыльшки».

Мастер оторвался от гороскопа и спросил у горничной, устроила ли она свою дочку в детский сад.

— Все в порядке, — ответила горничная, оглядывая наше общество. Она опять не нашла, кого искала, и как-то сразу полиняла и стала похожа на маленькую девочку, которой не дали сладкого за какую-то провинность.

— Вам ее жалко? — спросила Мастера владелица гороскопа, когда горничная ушла. И не дожидаясь ответа, сказала, что таких жалеть нечего.

Закончив чтение, я отошел от стола и взошел на балкон.